

Александр
КУПРИН

В Крыму



Александр Куприн
В Крыму (сборник)

«ЭКСМО»

2014

Куприн А. И.

В Крыму (сборник) / А. И. Куприн — «Эксмо», 2014

А.И. Куприн (1870–1938) – один из самых известных прозаиков XX века, реалист, мастер психологического анализа. В книгу включены произведения, события в которых происходят в Крыму. «Маленький, но отчаянной храбрости паровой катеришка «Герой», который ежедневно бежит между Ялтой и Алупкой, пытаясь, как зарывшая собака, и треплясь, точно в урагане, в самую легкую зыбь, пробовал было установить пассажирское сообщение и с Балаклавой. Но из этой попытки, повторенной раза три-четыре, ничего путного не вышло: только лишняя трата угля и времени. В каждый рейс «Герой» приходил пустым и возвращался пустым. А балаклавские греки, отдаленные потомки кровожадных гомеровских листригонов, встречали и провожали его, стоя на пристани и заложив руки в карманы штанов, меткими словечками, двусмысленными советами и язвительными пожеланиями...»

© Куприн А. И., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

Белый пудель	6
1	6
2	7
3	10
4	16
5	18
6	22
Угар	26
Брильянты	28
Пустые дачи	30
Памяти Чехова	32
I	33
II	35
III	37
IV	39
V	42
VI	44
VII	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Александр Иванович Куприн

В Крыму (сборник)

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Белый пудель

1

Узкими горными тропинками, от одного дачного поселка до другого, пробиралась вдоль Южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив набок длинный розовый язык, белый пудель Арто, стриженный наподобие льва. У перекрестков он останавливался и, махая хвостом, вопросительно оглядывался назад. По каким-то ему одному известным признакам он всегда безошибочно узнавал дорогу и, весело болтая мохнатыми ушами, кидался галопом вперед. За собакой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений, а в правой нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. Наконец, сзади плелся старший член труппы – дедушка Мартын Лодыжкин, с шарманкой на скрюченной спине.

Шарманка была старинная, страдавшая хрипотой, кашлем и перенесшая на своем веку не один десяток починок. Играла она две вещи: унылый немецкий вальс Лаунера и галоп из «Путешествия в Китай» – обе бывшие в моде лет тридцать – сорок тому назад, но теперь всеми позабытые. Кроме того, были в шарманке две предательские трубы. У одной – дискантовой – пропал голос; она совсем не играла, и поэтому, когда до нее доходила очередь, то вся музыка начинала как бы заикаться, прихрамывать и спотыкаться. У другой трубы, издававшей низкий звук, не сразу закрывался клапан: раз загудев, она тянула одну и ту же басовую ноту, заглушая и сбивая все другие звуки, до тех пор, пока ей вдруг не приходило желание замолчать. Дедушка сам признавал эти недостатки своей машины и иногда замечал шутливо, но с оттенком тайной грусти:

– Что поделаешь?.. Древний орган... простудный... Заиграешь – дачники обижаются: «Фу, говорят, гадость какая!» А ведь пьесы были очень хорошие, модные, но только нынешние господа нашей музыки совсем не обожают. Им сейчас «Гейшу» подавай, «Под двуглавым орлом», из «Продавца птиц» – вальс. Опять-таки трубы эти... Носил я орган к мастеру – и чинить не берется. «Надо, говорит, новые трубы ставить, а лучше всего, говорит, продай ты свою кислую дребедень в музей... вроде как какой-нибудь памятник...» Ну, да уж ладно! Кормила она нас с тобой, Сергей, до сих пор, бог даст и еще покормит.

Дедушка Мартын Лодыжкин любил свою шарманку так, как можно любить только живое, близкое, пожалуй, даже родственное существо. Свыкнувшись с ней за многие годы тяжелой бродячей жизни, он стал наконец видеть в ней что-то одухотворенное, почти сознательное. Случалось иногда, что ночью, во время ночлега, где-нибудь на грязном постоялом дворе, шарманка, стоявшая на полу, рядом с дедушкиным изголовьем, вдруг издавала слабый звук, печальный, одинокий и дрожащий: точно старческий вздох. Тогда Лодыжкин тихо гладил ее по резному боку и шептал ласково:

– Что, брат? Жалуешься?.. А ты терпи...

Столько же, сколько шарманку, может быть, даже немного больше, он любил своих младших спутников в вечных скитаниях: пуделя Арто и маленького Сергея. Мальчика он взял пять лет тому назад «напрокат» у забулдыги, вдового сапожника, обязавшись за это уплачивать по два рубля в месяц. Но сапожник вскоре умер, и Сергей остался навеки связанным с дедушкой и душой, и мелкими житейскими интересами.

2

Тропинка шла вдоль высокого прибрежного обрыва, извиваясь в тени столетних маслин. Море иногда мелькало между деревьями, и тогда казалось, что, уходя вдаль, оно в то же время подымается вверх спокойной могучей стеной, и цвет его был еще синее, еще гуще в узорчатых прорезах, среди серебристо-зеленой листвы. В траве, в кустах кизилия и дикого шиповника, в виноградниках и на деревьях – повсюду заливались цикады; воздух дрожал от их звенящего, однообразного, неумолчного крика. День выдался знойный, безветренный, и накалившаяся земля жгла подошвы ног.

Сергей, шедший, по обыкновению, впереди дедушки, остановился и ждал, пока старик не поравнялся с ним.

– Ты что, Сережа? – спросил шарманщик.

– Жара, дедушка Лодыжкин... нет никакого терпения! Исккупаться бы...

Старик на ходу привычным движением плеча поправил на спине шарманку и вытер рукавом вспотевшее лицо.

– На что бы лучше! – вздохнул он, жадно поглядывая вниз, на прохладную синеву моря. – Только ведь после купанья еще больше разморит. Мне один знакомый фельдшер говорил: соль эта самая на человека действует... значит, мол, расслабляет... Соль-то морская...

– Врал, может быть? – с сомнением заметил Сергей.

– Ну, вот, врал! Зачем ему врать? Человек солидный, непьющий... домишко у него в Севастополе. Да потом здесь и спуститься к морю негде. Подожди, дойдем ужотко до Мисхора, там и пополощем телеса свои грешные. Перед обедом оно лестно, искупаться-то... а потом, значит, поспать трошки... и отличное дело...

Арто, услышавший сзади себя разговор, повернулся и подбежал к людям. Его голубые добрые глаза шурились от жары и глядели умильно, а высунутый длинный язык вздрагивал от частого дыхания.

– Что, брат песик? Тепло? – спросил дедушка.

Собака напряженно зевнула, завив язык трубочкой, затряслась всем телом и тонко взвизгнула.

– Н-да, братец ты мой, ничего не поделаешь... Сказано: в поте лица твоего, – продолжал наставительно Лодыжкин. – Положим, у тебя, примерно сказать, не лицо, а морда, а все-таки... Ну, пошел, пошел вперед, нечего под ногами вертеться... А я, Сережа, признаться сказать, люблю, когда эта самая теплынь. Орган вот только мешает, а то, кабы не работа, лег бы где-нибудь на траве, в тени, пузом, значит, вверх, и полеживай себе. Для наших старых костей это самое солнце – первая вещь.

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, ослепительно белой дорогой. Здесь начинался старинный графский парк, в густой зелени которого были разбросаны красивые дачи, цветники, оранжереи и фонтаны. Лодыжкин хорошо знал эти места; каждый год обходил он их одно за другим во время виноградного сезона, когда весь Крым наполняется нарядной, богатой и веселой публикой. Яркая роскошь южной природы не трогала старика, но зато многое восхищало Сергея, бывшего здесь впервые. Магнолии, с их твердыми и блестящими, точно лакированными, листьями и белыми, с большую тарелку величиной, цветами; беседки, сплошь затканые виноградом, свесившим вниз тяжелые гроздья; огромные многовековые платаны с их светлой корой и могучими кронами; табачные плантации, ручьи и водопады, и повсюду – на клумбах, на изгородях, на стенах дач – яркие, великолепные душистые розы – все это не переставало поражать своей живой цветущей прелестью наивную душу мальчика. Он высказывал свои восторги вслух, ежеминутно теребя старика за рукав.

– Дедушка Лодыжкин, а дедушка, глянь-кось, в фонтане-то – золотые рыбы!.. Ей-богу, дедушка, золотые, умереть мне на месте! – кричал мальчик, прижимаясь лицом к решетке, огораживающей сад с большим бассейном посредине. – Дедушка, а персики! Вона сколько! На одном дереве!

– Иди-иди, дурашка, чего рот разинул! – подталкивал его шутливо старик. – погоди, вот дойдем мы до города Новороссийского и, значит, опять подадимся на юг. Там действительно места, – есть на что посмотреть. Сейчас, примерно сказать, пойдут тебе Сочи, Адлер, Туапсе, а там, братец ты мой, Сухум, Батум... Глаза раскосишь глядевши... Скажем, примерно – пальма. Удивление! Ствол у нее мохнатый, на манер войлока, а каждый лист такой большой, что нам с тобой обоим укрыться впору.

– Ей-богу? – радостно удивился Сергей.

– Пой, сам увидишь. Да мало ли там чего? Апельцын, например, или хоть, скажем, тот же лимон... Видал небось в лавочке?

– Ну?

– Просто так себе и растет в воздухе. Без ничего, прямо на дереве, как у нас, значит, яблоко или груша... И народ там, братец, совсем дикий: турки, персюки, черкесы разные, все в халатах и с кинжалами... Отчаянный народишка! А то бывают там, братец, эфиопы. Я их в Батуме много раз видел.

– Эфиопы? Знаю. Это которые с рогами, – уверенно сказал Сергей.

– Рогов, положим, у них нет, это враки. Но черные, как сапог, и даже блестят. Губищи у них красные, толстенные, а глазищи белые, а волосы курчавые, как на черном баране.

– Страшные поди... эфиопы-то эти?

– Как тебе сказать? С непривычки оно точно... опасаться немного, ну, а потом видишь, что другие люди не боятся, и сам станешь посмелее... Много там, братец мой, всякой всячины. Придем – сам увидишь. Одно только плохо – лихорадка. Потому кругом болота, гниль, а при том же жарница. Тамошним-то жителям ничего, не действует на них, а пришлому человеку приходится плохо. Одна беда будет нам с тобой, Сергей, языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие... Ты меня спроси: уж я все знаю!

Но день выдался для них неудачный. Из одних мест их прогоняли, едва завидев издали, в других, при первых же хриплых и гнусавых звуках шарманки, досадливо и нетерпеливо махали на них с балконов руками, в третьих прислуга заявляла, что «господа еще не приехавши». На двух дачах им, правда, заплатили за представление, но очень мало. Впрочем, дедушка никакой низкой платой не гнушался. Выходя из ограды на дорогу, он с довольным видом побрякивал в кармане медяками и говорил добродушно:

– Две да пять, итого семь копеек... Что ж, брат Сереженька, и это деньги. Семь раз по семи, – вот он и полтинник набежал, значит, все мы трое сыты, и ночлег у нас есть, и старичку Лодыжкину, по его слабости, можно рюмочку пропустить, недугов многих ради... Эх, не понимают этого господа! Двугривенный дать ему жалко, а пятак стыдно... ну и велит идти прочь. А ты лучше дай хоть три копейки... Я ведь не обижаюсь, я ничего... зачем обижаться?

Вообще Лодыжкин был скромного нрава и, даже когда его гнали, не роптал. Но сегодня и его вывела из обычного благодушного спокойствия одна красивая, полная, с виду очень добрая дама, владелица прекрасной дачи, окруженной садом с цветами. Она внимательно слушала музыку, еще внимательнее глядела на акробатические упражнения Сергея и на смешные «штучки» Арто, после этого долго и подробно расспрашивала мальчика о том, сколько ему лет и как его зовут, где он выучился гимнастике, кем ему приходится старик, чем занимались его родители и т. д.; потом приказала подождать и ушла в комнаты.

Она не появлялась минут десять, а то и четверть часа, и чем дольше тянулось время, тем более разрастались у артистов неопределенные, но заманчивые надежды. Дедушка даже шепнул мальчугану, прикрыв из осторожности рот ладонью, как щитком:

– Ну, Сергей, счастье наше, ты только слушай меня: я, брат, все знаю. Может быть, из платья что-нибудь даст или из обуви. Это уж верно!..

Наконец барыня вышла на балкон, швырнула сверху в подставленную шляпу Сергея маленькую белую монетку и тотчас же скрылась. Монета оказалась старым, стертым с обеих сторон и вдобавок дырявым гривенником. Дедушка долго с недоумением рассматривал ее. Он уже вышел на дорогу и отошел далеко от дачи, но все еще держал гривенник на ладони, как будто взвешивая его.

– Н-да-а... Ловко! – произнес он, внезапно остановившись. – Могу сказать... А мы-то, три дурня, старались. Уж лучше бы она хоть пуговицу дала, что ли. Ту по крайности куда-нибудь пришить можно. А что я с этой дрянью буду делать? Барыня небось думает: все равно старик кому-нибудь ее ночью спустит, потихоньку, значит. Нет-с, очень ошибаетесь, сударыня. Старик Лодыжкин такой гадостью заниматься не станет. Да-с! Вот вам ваш драгоценный гривенник! Вот!

И он с негодованием и с гордостью бросил монету, которая, слабо звякнув, зарылась в белую дорожную пыль.

Таким образом старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уж собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя, дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой, с той стороны, возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота, похожие своей причудливой резьбой на кружево, можно было рассмотреть уголок свежего, точно зеленый яркий шелк, газона, круглые цветочные клумбы и вдали, на заднем плане, крытую сквозную аллею, всю обвитую густым виноградом. Посредине газона стоял садовник, поливавший из длинного рукава розы. Он прикрыл пальцем отверстие трубы, и от этого в фонтане бесчисленных брызг солнце играло всеми цветами радуги.

Дедушка собирался было пройти мимо, но, заглянув в ворота, остановился в недоумении.

– Подожди-ка малость, Сергей, – окликнул он мальчика. – Никак там люди шевелятся? Вот так история. Сколько лет здесь хожу, – и никогда ни души. А ну-ка, вали, брат Сергей!

– «Дача «Дружба», посторонним вход строго воспрещается», – прочитал Сергей надпись, искусно выбитую на одном из столбов, поддерживавших ворота.

– Дружба?... – переспросил неграмотный дедушка. – Во-во! Это самое настоящее слово – дружба. Весь день у нас заколодило, а уж тут мы с тобой возьмем. Это я носом чую, на манер как охотничий пес. Арто, иси, собачий сын! Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай: уж я все знаю!

3

Дорожки сада были усыпаны ровным крупным гравием, хрустевшим под ногами, а с боков обставлены большими розовыми раковинами. На клумбах, над пестрым ковром из разноцветных трав, возвышались диковинные яркие цветы, от которых сладко благоухал воздух. В водоемах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз выющиеся растения, а перед домом, на мраморных столбах, стояли два блестящих зеркальных шара, в которых странствующая труппа отразилась вверх ногами, в смешном, изогнутом и растянутом виде.

Перед балконом была большая утоптанная площадка. Сергей расстелил на ней свой коврик, а дедушка, установив шарманку на палке, уже приготовился вертеть ручку, как вдруг неожиданное и странное зрелище привлекло их внимание.

На террасу из внутренних комнат выскочил как бомба, издавая пронзительные крики, мальчик лет восьми или десяти. Он был в легком матросском костюмчике, с обнаженными руками и голыми коленками. Белокурые волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало еще шесть человек: две женщины в фартуках; старый толстый лакей во фраке, без усов и без бороды, но с длинными седыми бакенбардами; сухопарая, рыжая, красноносая девица в синем клетчатом платье; молодая, болезненного вида, но очень красивая дама в кружевном голубом капоте и, наконец, толстый лысый господин в чесучовой паре и в золотых очках. Все они были сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу.

Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами во все стороны. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей во фраке прижимал с умоляющим видом обе руки к накрахмаленной рубашке, тряс своими длинными бакенбардами и говорил жалобно:

– Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку-с – встаньте... Будьте столь добренькие – выкушайте-с. Микстурка очень сладенькая, один суроп-с. Извольте подняться...

Женщины в фартуках всплескивали руками и щебетали скоро-скоро подобострастными и испуганными голосами. Красноносая девица кричала с трагическими жестами что-то очень внушительное, но совершенно непонятное, очевидно на иностранном языке. Рассудительным басом уговаривал мальчика господин в золотых очках; при этом он наклонял голову то на один, то на другой бок и степенно разводил руками. А красивая дама томно стонала, прижимая тонкий кружевной платок к глазам:

– Ах, Трилли, ах, боже мой!.. Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну, прими же, прими лекарство; увидишь, тебе сразу-сразу станет легче: и животик пройдет и головка. Ну, сделай это для меня, моя радость! Ну, хочешь, Трилли, мама станет перед тобой на колени? Ну вот, смотри, я на коленях перед тобой. Хочешь, я тебе подарю золотой? Два золотых? Пять золотых, Трилли? Хочешь живого ослика? Хочешь живую лошадку?.. Да скажите же ему что-нибудь, доктор!..

– Послушайте, Трилли, будьте же мужчиной, – загудел толстый господин в очках.

– Ай-яй-яй-я-а-а! – вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами.

Несмотря на свое крайнее волнение, он все-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.

Сергей, долго глядевший с любопытством и удивлением на эту сцену, тихонько толкнул старика в бок.

– Дедушка Лодыжкин, что же это такое с ним? – спросил он шепотом. – Никак, драть его будут?

– Ну вот, драть... Такой сам всякого посекает. Просто – блажной мальчишка. Больной, должно быть.

– Шамашедчий? – догадался Сергей.

– А я почему знаю. Тише!..

– Ай-яй-а-а! Дряни! Дураки!.. – надрывался все громче и громче мальчик.

– Начинай, Сергей. Я знаю! – распорядился вдруг Лодыжкин и с решительным видом завертел ручку шарманки.

По саду понеслись гнусавые, сиплые, фальшивые звуки старинного галопа. Все на балконе разом встрепнулись, даже мальчик замолчал на несколько секунд.

– Ах, боже мой, они еще больше расстроят бедного Трилли! – воскликнула плачевно дама в голубом капоте. – Ах, да прогоните же их, прогоните скорее! И эта грязная собака с ними. У собак всегда такие ужасные болезни. Что же вы стоите, Иван, точно монумент?

Она с усталым видом и с отвращением замахала платком на артистов, сухопарая красноногая девица сделала страшные глаза, кто-то угрожающе зашипел... Человек во фраке быстро и мягко скатился с балкона и с выражением ужаса на лице, широко растопыбив в стороны руки, подбежал к шарманщику.

– Эт-то что за безобразие! – захрипел он сдавленным, испуганным и в то же время начальственно-сердитым шепотом. – Кто позволил? Кто пропустил? Марш! Вон!..

Шарманка, уныло пискнув, замолкла.

– Господин хороший, дозвоьте вам объяснить... – начал было деликатно дедушка.

– Никаких! Марш! – закричал с каким-то даже свистом в горле фрачный человек.

Его толстое лицо мигом побагровело, а глаза невероятно широко раскрылись, точно вдруг вылезли наружу, и заходили колесом. Это было настолько страшно, что дедушка невольно отступил на два шага назад.

– Собирайся, Сергей, – сказал он, поспешно скидывая шарманку на спину. – Идем!

Но не успели они сделать и десяти шагов, как с балкона понеслись новые пронзительные крики:

– Ай-яй-яй! Мне! Хочу-у! А-а-а! Да-ай! Позвать! Мне!

– Но, Трилли!.. Ах, боже мой, Трилли! Ах, да воротите же их, – застонала нервная дама. – Фу, как вы все бестолковы!.. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих!..

– Послушайте! Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Вернитесь! – закричало с балкона несколько голосов.

Толстый лакей с разлетающимися в обе стороны бакенбардами, подпрыгивая, как большой резиновый мяч, бегом бросился вслед уходящим артистам.

– Пст!.. Музыканты! Слушайте-ка! Назад!.. Назад!.. – кричал он, задыхаясь и махая обеими руками. – Старичок почтенный, – схватил он наконец за рукав дедушку, – заворачивай оглобли! Господа будут ваш пантомим смотреть. Живо!..

– Н-ну, дела! – вздохнул, покрутив головой, дедушка, однако приблизился к балкону, снял шарманку, укрепил ее перед собою на палке и заиграл галоп с того самого места, на котором его только что прервали.

Суэта на балконе затихла. Барыня с мальчиком и господин в золотых очках подошли к самым перилам; остальные почтительно оставались на заднем плане. Из глубины сада пришел садовник в фартуке и стал неподалеку от дедушки. Откуда-то вылезший дворник поместился позади садовника. Это был огромный бородатый мужчина с мрачным, узколобым, рябым лицом. Одет он был в новую розовую рубашку, по которой шли косыми рядами крупные черные горошины.

Под хриплые, заикающиеся звуки галопа Сергей разостлал на земле коврик, быстро скинул с ног парусиновые панталоны (они были сшиты из старого мешка и сзади, на самом широком месте, украшались четырехугольным заводским клеймом), сбросил с себя старую куртку и остался в стареньком нитяном трико, которое, несмотря на многочисленные заплатки, ловко охватывало его тонкую, но сильную и гибкую фигуру. У него уже выработались, путем подражания взрослым, приемы заправского акробата. Взяв коврик, он на ходу приложил руки к губам, а потом широким театральным движением размахнул их в стороны, как бы посылая публике два стремительных поцелуя.

Дедушка одной рукой непрерывно вертел ручку шарманки, извлекая из нее дребезжащий, кашляющий мотив, а другой бросал мальчику разные предметы, которые тот искусно подхватывал на лету. Репертуар у Сергея был небольшой, но работал он хорошо, «чисто», как говорят акробаты, и с охотой. Он подкидывал вверх пустую пивную бутылку, так что она несколько раз перевертывалась в воздухе, и вдруг, поймав ее горлышком на край тарелки, несколько секунд держал ее в равновесии; жонглировал четырьмя костяными шариками, а также двумя свечками, которые он одновременно ловил в подсвечники; потом играл сразу тремя различными предметами – веером, деревянной сигарой и дождевым зонтом. Все они летали у него по воздуху, не прикасаясь к земле, и вдруг сразу зонт оказался над головой, сигара – во рту, а веер кокетливо обмахивал лицо. В заключение Сергей сам несколько раз перекувырнулся на ковре, сделал «лягушку», показал «американский узел» и походил на руках. Истощив весь запас своих «трюков», он опять бросил в публику два поцелуя и, тяжело дыша, подошел к дедушке, чтобы заменить его у шарманки.

Теперь была очередь Арто. Пес это отлично знал, и уже давно скакал в волнении всеми четырьмя лапами на дедушку, вылезавшего боком из лямки, и лаял на него отрывистым, нервным лаем. Почем знать, может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает двадцать два градуса в тени? Но дедушка Лодыжкин с хитрым видом вытащил из-за спины тонкий кизилевый хлыстик. «Так я и знал!» – с досадой пролаял в последний раз Арто и лениво, непокорно поднялся на задние ноги, не сводя моргающих глаз с хозяина.

– Служить, Арто! Так, так, так... – проговорил старик, держа над головой пуделя хлыст. – Перевернись. Так. Перевернись... Еще, еще... Танцуй, собачка, танцуй!.. Садись! Что-о? Не хочешь? Садись, тебе говорят. А-а... то-то! Смотри! Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой! Ну! Арто! – грозно возвысил голос Лодыжкин.

«Гав!» – брехнул с отвращением пудель. Потом поглядел, жалобно моргая глазами, на хозяина и добавил еще два раза: «Гав, гав!»

«Нет, не понимает меня мой старик!» – слышалось в этом недовольном лае.

– Вот это – другое дело. Вежливость прежде всего. Ну, а теперь немножко попрыгаем, – продолжал старик, протягивая невысоко над землею хлыст. – Алле! Нечего, брат, язык-то высовывать. Алле!.. Гоп! Прекрасно! А ну-ка еще, нох ейн маль... Алле!.. Гоп! Алле! Гоп! Чудесно, собачка. Придем домой, я тебе морковки дам. А, ты морковку не кушаешь? Я и забыл совсем. Тогда возьми мою чилиндру и попроси у господ. Может быть, они тебе преподарят что-нибудь повкуснее.

Старик поднял собаку на задние лапы и всунул ей в рот свой древний, засаленный картуз, который он с таким тонким юмором называл «чилиндрой». Держа картуз в зубах и жеманно переступая приседающими ногами, Арто подошел к террасе. В руках у болезненной дамы появился маленький перламутровый кошелек. Все окружающие сочувственно улыбались.

– Что? Не говорил я тебе? – задорно шепнул дедушка, наклоняясь к Сергею. – Ты меня спроси: уж я, брат, все знаю. Никак не меньше рубля.

В это время с террасы раздался такой отчаянный, резкий, почти нечеловеческий вопль, что растерявшийся Арто выронил изо рта шапку и вприпрыжку, с поджатым хвостом, боязливо оглядываясь назад, бросился к ногам своего хозяина.

– Хочу-у-а-а! – закатывался, топая ногами, кудрявый мальчик. – Мне! Хочу! Собаку-у-у! Трилли хочет соба-а-аку-у...

– Ах, боже мой! Ах! Николай Аполлоныч!.. Батюшка барин!.. Успокойся, Трилли, умоляю тебя! – опять засуетились люди на балконе.

– Собаку! Подай собаку! Хочу! Дряни, черти, дураки! – выходил из себя мальчик.

– Но, ангел мой, не расстраивай себя! – залепетала над ним дама в голубом капоте. – Ты хочешь погладить собачку? Ну, хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку?

– Вообще говоря, я не советовал бы, – развел тот руками, – но если надежная дезинфекция, например, борной кислотой или слабым раствором карболки, то-о... вообще...

– Соба-а-аку!

– Сейчас, моя прелесть, сейчас. Итак, доктор, мы прикажем вымыть ее борной кислотой и тогда... Но, Трилли, не волнуйся же так! Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Слушайте, она у вас не больная? Я хочу спросить, она не бешеная? Или, может быть, у нее эхинококки?

– Не хочу погладить, не хочу! – ревел Трилли, пуская ртом и носом пузыри. – Хочу совсем! Дураки, черти! Совсем мне! Хочу сам играть... Навсегда!

– Послушайте, старик, подойдите сюда, – силилась перекричать его барыня. – Ах, Трилли, ты убьешь маму своим криком. И зачем только пустили этих музыкантов! Да подойдите же ближе, еще ближе... еще, вам говорят!.. Вот так... Ах, не огорчайся же, Трилли, мама сделает все, что хочешь. Умоляю тебя. Мисс, да успокойте же наконец ребенка... Доктор, прошу вас... Сколько же ты хочешь, старик?

Дедушка снял картуз. Лицо его приняло учтивое, сиротское выражение.

– Сколько вашей милости будет угодно, барыня, ваше высокопревосходительство... Мы люди маленькие, нам всякое даяние – благо... Чай, сами старичка не обидите...

– Ах, как вы бестолковы! Трилли, у тебя заболит горлышко. Ведь поймите, что собака *ваша*, а не моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? Двадцать?

– А-а-а! Хочу-у! Дайте собаку, дайте собаку, – взвизгивал мальчик, толкая лакея в круглый живот ногой.

– То есть... простите, ваше сиятельство, – замялся Лодыжкин. – Я – человек старый, глупый... Сразу-то мне не понять... к тому же и глуховат малость... то есть как это вы изволите говорить?.. За собаку?..

– Ах, мой бог!.. Вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом? – вскипела дама. – Няня, дайте поскорее Трилли воды! Я вас спрашиваю русским языком, за сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете, вашу собаку, собаку...

– Собаку! Соба-аку! – залился громче прежнего мальчик.

Лодыжкин обиделся и надел на голову картуз.

– Собаками, барыня, не торгую-с, – сказал он холодно и с достоинством. – А этот пес, сударыня, можно сказать, нас двоих, – он показал большим пальцем через плечо на Сергея, – нас двоих кормит, поит и одевает. И никак этого невозможно, чтобы, например, продать.

Трилли между тем кричал с пронзительностью паровозного свистка. Ему подали стакан воды, но он яростно выплеснул его в лицо гувернантке.

– Да послушайте же, безумный старик!.. Нет вещи, которая бы не продавалась, – настаивала дама, стискивая свои виски ладонями. – Мисс, вытрите поскорей лицо и дайте мне мой мигренин. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан! Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога!

– Собирайся, Сергей, – угрюмо проворчал Лодыжкин. – Исту-ка-н... Арто, иди сюда!..

– Э-э, постой-ка, любезный, – начальственным басом протянул толстый господин в золотых очках. – Ты бы лучше не ломался, мой милый, вот что тебе скажу. Собаке твоей десять рублей красная цена, да еще вместе с тобой на придачу... Ты подумай, осел, сколько тебе дают!

– Покорнейше вас благодарю, барин, а только... – Лодыжкин, кряхтя, вскинул шарманку за плечи. – Только никак это дело не выходит, чтобы, значит, продавать. Уж вы лучше где-нибудь другого кобелька поищите... Счастливо оставаться... Сергей, иди вперед!

– А паспорт у тебя есть? – вдруг грозно взревел доктор. – Я вас знаю, каналы!

– Дворник! Семен! Гоните их! – закричала с искаженным от гнева лицом барыня.

Мрачный дворник в розовой рубаше со зловещим видом приблизился к артистам. На террасе поднялся страшный, разноголосый гам: ревел благим матом Трилли, стонала его мать, скороговоркой причитали нянька с поднянькой, густым басом, точно рассерженный шмель, гудел доктор. Но дедушка и Сергей уж не имели времени посмотреть, чем все это кончится. Предшествоваемые изрядно струсившим пуделем, они почти бегом спешили к воротам. А следом за ними шел дворник, подталкивая сзади, в шарманку, и говорил угрожающим голосом:

– Шляетесь здесь, лабарданцы! Благодарите еще бога, что по шее, старый хрен, не заработал. А в другой раз придешь, так и знай, стесняться с тобой не стану, намну загривок и стащу к господину вряднику. Шантрапа!

Долгое время старик и мальчик шли молча, но вдруг, точно по уговору, взглянули друг на друга и рассмеялись: сначала захохотал Сергей, а потом, глядя на него, но с некоторым смущением, улыбнулся и Лодыжкин.

– Что, дедушка Лодыжкин? Ты все знаешь? – поддразнил его лукаво Сергей.

– Да-а, брат. Обмишулились мы с тобой, – покачал головой старый шарманщик. – Язвительный, однако, мальчугашка... Как его, такого, вырастили, шут его возьми? Скажите на милость: двадцать пять человек вокруг него танцы танцуют. Ну уж, будь в моей власти, я бы ему прописал ижу. Подавай, говорит, собаку? Этак что же? Он и луну с неба захочет, так подавай ему и луну? Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну и денек сегодня задался. Удивительно!

– На что лучше! – продолжал ехидничать Сергей. – Одна барыня платье подарила, другая целковый дала. Все ты, дедушка Лодыжкин, наперед знаешь.

– А ты помалкивай, огарок, – добродушно огрызнулся старик. – Как от дворника-то улетывал, помнишь? Я думал, и не догнать мне тебя. Серьезный мужчина – этот дворник.

Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которые теперь с тихим шелестом ласково плескалось море. Саженьях в двухстах от берега кувыркались в воде дельфины, показывая из нее на мгновение свои жирные, круглые спины. Вдали на горизонте, там, где голубой атлас моря окаймлялся темно-синей бархатной лентой, неподвижно стояли стройные, чуть-чуть розовые на солнце, паруса рыбацких лодок.

– Тут и выкупаемся, дедушка Лодыжкин, – сказал решительно Сергей. На ходу он уже успел, прыгая то на одной, то на другой ноге, стащить с себя панталоны. – Давай я тебе пособлю орган снять.

Он быстро разделся, звонко хлопнул себя ладонями по голому, шоколадному от загара телу и бросился в воду, подымая вокруг себя бугры кипящей пены.

Дедушка раздевался не торопясь. Прикрыв глаза ладонью от солнца и щурясь, он с любовной усмешкой глядел на Сергея.

«Ничего себе растет паренек, – думал Лодыжкин, – даром что костлявый – вон все ребра видать, а все-таки будет парень крепкий».

– Эй, Сережка! Ты больно далече-то не плавай. Морская свинья утащит.

– А я ее за хвост! – крикнул издали Сергей.

Дедушка долго постоял на солнышке, щупая у себя под мышками. В воду он сошел очень осторожно и, прежде чем окунуться, старательно мочил себе красное лысое темя и впалые бока. Тело у него было желтое, дряблое и бессильное, ноги – поразительно тонкие, а спина с выдавшимися острыми лопатками была сторблена от долголетнего таскания шарманки.

– Дедушка Лодыжкин, гляди! – крикнул Сергей.

Он перекувырнулся в воде, закинув себе ноги через голову. Дедушка, уже влезший в воду по пояс и приседавший в ней с блаженным кряхтением, крикнул тревожно:

– Ну, а ты не балуйся, поросенок. Смотри! Я т-тебя!

Арто неистово лаял и скакал по берегу. Его беспокоило, что мальчик заплыл так далеко. «К чему показывать свою храбрость? – волновался пудель. – Есть земля – и ходи по земле. Гораздо спокойнее».

Он и сам залез было в воду по брюхо и два-три раза лакнул ее языком. Но соленая вода ему не понравилась, а легкие волны, шуршавшие о прибрежный гравий, пугали его. Он выскочил на берег и опять принялся лаять на Сергея. «К чему эти дурацкие фокусы? Сидел бы у берега, рядом со стариком. Ах, сколько беспокойства с этим мальчишкой!»

– Эй, Сережа, вылезай, что ли, в самом деле, будет тебе! – позвал старик.

– Сейчас, дедушка Лодыжкин, пароходом плыву. У-у-у-ух!

Он наконец подплыл к берегу, но прежде чем одеться, схватил на руки Арто и, вернувшись с ним в море, бросил его далеко в воду. Собака тотчас же поплыла назад, выставив наружу только одну морду со всплывшими наверх ушами, громко и обиженно фыркая. Выскочив на сушу, она затряслась всем телом, и тучи брызг полетели на старика и на Сергея.

– Постой-ка, Сережа, никак, это к нам? – сказал Лодыжкин, пристально глядя вверх, на гору.

По тропинке быстро спускался вниз, неразборчиво крича и махая руками, тот самый мрачный дворник в розовой рубаше с черными горошинами, который четверть часа назад гнал странствующую труппу с дачи.

– Что ему надо? – спросил с недоумением дедушка.

4

Дворник продолжал кричать, сбегая вниз неловкой рысью, причем рукава его рубахи трепались по ветру, а пазуха надувалась, как парус.

– О-го-го!... Подождите трошки!..

– А чтоб тебя намочило да не высушило, – сердито проворчал Лодыжкин. – Это он опять насчет Артошки.

– Давай, дедушка, накладем ему! – храбро предложил Сергей.

– А ну тебя, отвяжись... И что это за люди, прости господи...

– Вы вот что... – начал запыхавшийся дворник еще издали. – Продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с паньчом. Ревет, как теля. «Подай да подай собаку...» Барыня послала, купи, говорит, чего бы ни стоило.

– Довольно даже глупо это со стороны твоей барыни! – рассердился вдруг Лодыжкин, который здесь, на берегу, чувствовал себя гораздо увереннее, чем на чужой даче. – И опять, какая она мне такая барыня? Тебе, может быть, барыня, а мне двоюродное наплевать. И пожалуйста... я тебя прошу... уйди ты от нас, Христа ради... и того... и не приставай.

Но дворник не унимался. Он сел на камни, рядом со стариком, и говорил, неуклюже тыча перед собой пальцами:

– Да пойми же ты, дурак-человек...

– От дурака и слышу, – спокойно отрезал дедушка.

– Да постой... не к тому я это... Вот, право, репей какой... Ты подумай: ну, что тебе собака? Подобрал другого щенка, выучил стоять дыбки, вот тебе и снова пес. Ну? Неправду, что ли, я говорю? А?

Дедушка внимательно завязывал ремень вокруг штанов. На настойчивые вопросы дворника он ответил с деланным равнодушием:

– Бреши дальше... Я потом тебе отвечу.

– А тут, брат ты мой, сразу – цифра! – горячился дворник. – Двести, а не то триста целковых враз! Ну, обыкновенно, мне кое-что за труды... Ты подумай только: три сотенных! Ведь это сразу можно бакалейную открыть...

Говоря таким образом, дворник вытащил из кармана кусок колбасы и швырнул его пуделю. Арто поймал его на лету, проглотил в один прием и искательно завилял хвостом.

– Кончил? – коротко спросил Лодыжкин.

– Да тут долго и кончать нечего. Давай пса – и по рукам.

– Та-ак-с, – насмешливо протянул дедушка. – Продать, значит, собачку?

– Обыкновенно – продать. Чего вам еще? Главное, паньч у нас такой скаженный¹. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. Подавай – и все тут. Это еще без отца, а при отце... святители вы наши!.. все вверх ногами ходят. Барин у нас инженер, может быть, слышали, господин Оболянинов? По всей России железные дороги строят. Мельонер! А мальчишка-то у нас один. И озорует. Хочу поню живую – на тебе поню. Хочу лодку – на тебе всамделишную лодку. Как есть ни в чем, ни в чем отказу...

– А луну?

– То есть в каких это смыслах?

– Говорю, луну он ни разу с неба не захотел?

– Ну вот... тоже скажешь – луну! – сконфузился дворник. – Так как же, мил человек, лады у нас, что ли?

¹ Сумасшедший (малороссийское слово. – Прим. А. И. Куприна).

Дедушка, который успел уже в это время напаять на себя коричневый, позеленевший на швах пиджак, гордо выпрямился, насколько ему позволяла вечно согнутая спина.

– Я тебе одно скажу, парень, – начал он не без торжественности. – Примерно, ежели бы у тебя был брат или, скажем, друг, который, значит, с самого сыздетства. Постой, друже, ты собаке колбасу даром не стравляй... сам лучше скушай... этим, брат, ее не подкупишь. Говорю, ежели бы у тебя был самый что ни на есть верный друг... который сыздетства... То за сколько бы ты его примерно продал?

– Приравнял тоже!..

– Вот те и приравнял. Ты так и скажи своему барину, который железную дорогу строит, – возвысил голос дедушка. – Так и скажи: не все, мол, продается, что покупается. Да! Ты собаку-то лучше не гладь, это ни к чему. Арто, иди сюда, собачий сын, я т-тебе! Сергей, собирайся.

– Дурак ты старый, – не вытерпел наконец дворник.

– Дурак, да отроду так, а ты хам, Иуда, продажная душа, – выругался Лодыжкин. – Увидишь свою генеральшу, кланяйся ей, скажи: от наших, мол, с любовью низкий поклон. Свертывай ковер, Сергей! Э-эх, спина моя, спинушка! Пойдем.

– Значит, та-ак!.. – многозначительно протянул дворник.

– С тем и возьмите! – весело ответил старик.

Артисты поплелись вдоль морского берега, опять вверх, по той же дороге. Оглянувшись случайно назад, Сергей увидел, что дворник следит за ними. Вид у него был задумчивый и угрюмый. Он сосредоточенно чесал всей пятерней под съехавшей на глаза шапкой свой лохматый рыжий затылок.

5

У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Алупкой, книзу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Неподалеку от моста, перекинутого через бурливый и грязный горный поток, выбегала из-под земли, в тени кривых дубов и густого орешника, говорливая, холодная струйка воды. Она проделала в почве круглый неглубокий водоем, из которого сбегала в ручей тонкой змейкой, блестящей в траве, как живое серебро. Около этого родника по утрам и по вечерам всегда можно было застать набожных турок, пивших воду и творивших свои священные омовения.

– Грехи наши тяжкие, а запасы скудные, – сказал дедушка, садясь в прохладе под орешником. – Ну-ка, Сережа, господи благослови!

Он вынул из холщового мешка хлеб, десяток красных томатов, кусок бессарабского сыра «брынзы» и бутылку с прованским маслом. Соль была у него завязана в узелок тряпочки сомнительной чистоты. Перед едой старик долго крестился и что-то шептал. Потом он разломил краюху хлеба на три неровные части: одну, самую большую, он протянул Сергею (малый растет – ему надо есть), другую, поменьше, оставил для пуделя, самую маленькую взял себе.

– Во имя отца и сына. Очи всех на тя, господи, уповают, – шептал он, суетливо распределяя порции и поливая их из бутылки маслом. – Вкушай, Сережа!

Не торопясь, медленно, в молчании, как едят настоящие труженики, принялись трое за свой скромный обед. Слышно было только, как жевали три пары челюстей. Арто ел свою долю в сторонке, растянувшись на животе и положив на хлеб обе передние лапы. Дедушка и Сергей поочередно макали в соль спелые помидоры, из которых тек по их губам и рукам красный, как кровь, сок, и заедали их сыром и хлебом. Насытившись, они напились воды, подставляя под струю источника жестяную кружку. Вода была прозрачная, прекрасная на вкус и такая холодная, что от нее кружка даже запотела снаружи. Дневной жар и длинный путь изморили артистов, которые встали сегодня чуть свет. У дедушки слипались глаза. Сергей зевал и потягивался.

– Что, братику, разве нам лечь поспать на минуточку? – спросил дедушка. – Дай-ка я в последний раз водицы попью. Ух, хорошо! – крикнул он, отнимая от кружки рот и тяжело переводя дыхание, между тем как светлые капли бежали с его усов и бороды. – Если бы я был царем, все бы эту воду пил... с утра бы до ночи! Арто, иси, сюда! Ну вот, бог напитал, никто не видал, а кто и видел, тот не обидел... Ох-ох-хонюшки-и!

Старик и мальчик легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочался, крихтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке.

– Перво дело – куплю тебе костюм: розовое трико с золотом... туфли тоже розовые, атласные... В Киеве, в Харькове или, например, скажем, в городе Одессе – там, брат, во какие цирки!.. Фонарей видимо-невидимо... все электричество горит... Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше... почему я знаю? Фамилию мы тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Естифеев или, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна – нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афише запустим – Антонио или, например, тоже хорошо – Энрико или Альфонзо...

Дальше мальчик ничего не слышал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав и обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеден-

ных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубашке, но, разморенный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку:

– Арто... куда? Я т-тебя, бродяга!

Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях.

Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом:

– Арто, иси! Назад! Фью, фью, фью! Арто, назад!

– Ты что, Сергей, вопишь? – недовольно спросил Лодыжкин, с трудом расправляя затекшую руку.

– Собаку мы проспали, вот что! – раздраженным голосом грубо ответил мальчик. – Пропала собачка.

Он резко свистнул и еще раз закричал протяжно:

– Арто-о-о!

– Глупости ты выдумываешь!.. Вернется, – сказал дедушка. Однако он быстро встал на ноги и стал кричать собаку сердитым, сиплым со сна, старческим фальцетом:

– Арто, сюда, собачий сын!

Он торопливо, мелкими, путающимися шажками перебежал через мост и поднялся вверх по шоссе, не переставая звать собаку. Перед ним лежало видное глазу на полверсты, ровное, ярко-белое полотно дороги, но на нем – ни одной фигуры, ни одной тени.

– Арто! Ар-то-шень-ка! – жалобно завывал старик.

Но вдруг он остановился, нагнулся низко к дороге и присел на корточки.

– Да-а, вот оно какое дело-то! – произнес старик упавшим голосом. – Сергей! Сережа, поди-ка сюда.

– Ну, что там еще? – грубо отозвался мальчик, подходя к Лодыжкину. – Вчерашний день нашел?

– Сережа... что это такое?.. Вот это, что это такое? Ты понимаешь? – еле слышно спрашивал старик.

Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.

На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап.

– Свел ведь, подлец, собаку! – испуганно прошептал дедушка, все еще сидя на корточках. – Не кто, как он, – дело ясное... Помнишь, давеча у моря-то он все колбасой прикармливал.

– Дело ясное, – мрачно и со злобой повторил Сергей.

Широко раскрытые глаза дедушки вдруг наполнились крупными слезами и быстро замигали. Он закрыл их руками.

– Что же нам теперь делать, Сереженька? А? Делать-то нам что теперь? – спрашивал старик, качаясь взад и вперед и беспомощно всхлипывая.

– Что делать, что делать! – сердито передразнил его Сергей. – Вставай, дедушка Лодыжкин, пойдем!..

– Пойдем, – уныло и покорно повторил старик, подымаясь с земли. – Ну что ж, пойдем, Сереженька!

Вышедший из терпения Сергей закричал на старика, как на маленького:

– Будет тебе, старик, дурака-то валять. Где это видано всамделе, чтобы чужих собак заманивать? Чего ты глазами на меня хлопаешь? Неправду я говорю? Прямо придем и скажем: «Подавай назад собаку!» А нет – к мировому, вот и весь сказ.

– К мировому... да... конечно... Это верно, к мировому... – с бессмысленной, горькой улыбкой повторял Лодыжкин. Но глаза его неловко и конфузливо забегали. – К мировому... да... Только вот что, Сереженька... не выходит это дело... чтобы к мировому...

– Как это не выходит? Закон один для всех. Чего им в зубы смотреть? – нетерпеливо перебил мальчик.

– А ты, Сережа, не того... не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернут. – Дедушка таинственно понизил голос. – Насчет пачпорта я опасаясь. Слыхал, что давеча господин говорил? Спрашивает: «А пачпорт у тебя есть?» Вот она, какая история. А у меня, – дедушка сделал испуганное лицо и зашептал еле слышно, – у меня, Сережа, пачпорт-то чужой.

– Как чужой?

– То-то вот – чужой. Свой я потерял в Таганроге, а может быть, украли его у меня. Года два я потом крутился: прятался, взятки давал, писал прошения... Наконец, вижу, нет никакой моей возможности, живу точно заяц – всякого опасаясь. Покою вовсе не стало. А тут в Одессе, в ночлежке, подвернулся один грек. «Это, говорит, сущие пустяки. Клади, говорит, старик, на стол двадцать пять рублей, а я тебя навеки пачпортом обеспечу». Раскинул я умом туда-сюда. Эх, думаю, пропадай моя голова. Давай, говорю. И с тех пор, милый мой, вот я и живу по чужому пачпорту.

– Ах, дедушка, дедушка! – глубоко, со слезами в груди вздохнул Сергей. – Собаку мне уж больно жалко... Собака-то уж хороша очень...

– Сереженька, родной мой! – протянул к нему старик дрожащие руки. – Да будь только у меня пачпорт настоящий, разве я бы поглядел, что они генералы? За горло бы взял!.. «Как так? Позвольте! Какое имеете полное право чужих собак красть? Какой такой закон на это есть?» А теперь нам крышка, Сережа. Приду я в полицию – первое дело: «Подавай пачпорт! Это ты самарский мещанин Мартын Лодыжкин?» – «Я, вашескродие». А я, братец, и не Лодыжкин вовсе и не мещанин, а крестьянин, Иван Дудкин. А кто таков этот Лодыжкин – один бог его ведает. Почем я знаю, может, воришка какой или беглый каторжник? Или, может быть, даже убивец? Нет, Сережа, ничего мы тут не сделаем... Ничего, Сережа...

Голос у дедушки оборвался и захлебнулся. Слезы опять потекли по глубоким, коричневым от загара морщинам. Сергей, который слушал ослабевшего старика молча, с плотно сжатыми бровями, бледный от волнения, вдруг взял его под мышки и стал поднимать.

– Пойдем, дедушка, – сказал он повелительно и ласково в то же время. – К черту пачпорт, пойдем! Не ночевать же нам на большой дороге.

– Милый ты мой, родной, – приговаривал, трясаясь всем телом, старик. – Собачка-то уж очень затейная... Артошенька-то наш... Другой такой не будет у нас...

– Ладно, ладно... Вставай, – распоряжался Сергей. – Дай я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка.

В этот день артисты больше не работали. Несмотря на свой юный возраст, Сергей хорошо понимал все роковое значение этого страшного слова «пачпорт». Поэтому он не настаивал больше ни на дальнейших розысках Арто, ни на мировом, ни на других решительных мерах. Но пока он шел рядом с дедушкой до ночлега, с лица его не сходило новое, упрямое и сосредоточенное выражение, точно он задумал про себя что-то чрезвычайно серьезное и большое.

Не сговариваясь, но, очевидно, по одному и тому же тайному побуждению, они нарочно сделали значительный крюк, чтобы еще раз пройти мимо «Дружбы». Перед воротами они задержались немного, в смутной надежде увидеть Арто или хоть услышать издали его лай.

Но резные ворота великолепной дачи были плотно закрыты, и в тенистом саду под стройными печальными кипарисами стояла важная, невозмутимая, душистая тишина.

– Гос-спо-да! – шипящим голосом произнес старик, вкладывая в это слово всю едкую горечь, переполнившую его сердце.

– Будет тебе, пойдем, – сурово приказал мальчик и потянул своего спутника за рукав.

– Сереженька, может, убежит от них еще Артошка-то? – вдруг опять всхлипнул дедушка. – А? Как ты думаешь, милый?

Но мальчик не ответил старику. Он шел впереди большими, твердыми шагами. Его глаза упорно смотрели вниз на дорогу, а тонкие брови сердито сдвинулись к переносью.

6

Молча дошли они до Алупки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое, решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Ылдыз», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки-каменотесы, землекопы-турки, несколько человек русских рабочих, перебивавшихся поденным трудом, а также несколько темных, подозрительных бродяг, которых так много шатается по югу России. Все они, как только кофейная закрылась в определенный час, разлеглись на скамьях, стоящих вдоль стен, и прямо на полу, причем те, что были поопытнее, положили, из нелишней предосторожности, себе под голову все, что у них было наиболее ценного из вещей и из платья.

Было далеко за полночь, когда Сергей, лежавший на полу рядом с дедушкой, осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца, стелился косым, дрожащим переплетом по полу и, падая на спящих вповалку людей, придавал их лицам страдальческое и мертвое выражение.

– Ты куда носью ходишь, мальцук? – сонно окликнул Сергея у дверей хозяин кофейной, молодой турок Ибрагим.

– Пропусти. Надо! – сурово, деловым тоном ответил Сергей. – Да вставай, что ли, турецкая лопатка!

Зевая, почесываясь и укоризненно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножий домов другой, освещенной стороны, резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки. Откуда-то, с верхнего шоссе, доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.

Миновав белую, с зеленым куполом, в виде луковицы, мечеть, окруженную молчаливой толпой темных кипарисов, мальчик спустился по тесному кривому переулку на большую дорогу. Для легкости Сергей не взял с собой верхней одежды, оставшись в одном трико. Месяц светил ему в спину, и тень мальчика бежала впереди его черным, странным, укороченным силуэтом. По обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник. Какая-то птичка кричала в нем однообразно, через ровные промежутки, тонким, нежным голосом: «Сплю!.. Сплю!..» И казалось, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, без надежды, жалуется кому-то: «Сплю, сплю!..» А над темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, Ай-Петри – такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.

Сергею было немного жутко среди этого величавого безмолвия, в котором так отчетливо и дерзко раздавались его шаги, но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая, головокружительная отвага. На одном повороте вдруг открылось море. Огромное, спокойное, оно тихо и торжественно зыбилось. От горизонта к берегу тянулась узкая, дрожащая серебряная дорожка; среди моря она пропадала, – лишь кое-где изредка вспыхивали ее блески, – и вдруг у самой земли широко расплескивалась живым, сверкающим металлом, опоясывая берег.

Беззвучно проскользнул Сергей в деревянную калитку, ведущую в парк. Там, под густыми деревьями, было совсем темно. Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его сырое, холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста. Вода под ним была черная и страшная. Вот наконец и высокие чугунные ворота, узорчатые, точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициний. Лунный свет, прорезавшись

сквозь чащу деревьев, скользил по резьбе ворот слабыми фосфорическими пятнами. По ту сторону был мрак и чутко-пугливая тишина.

Было несколько мгновений, в течение которых Сергей испытывал в душе колебание, почти страх. Но он поборол в себе эти томительные чувства и прошептал:

– А все-таки я полезу! Все равно!

Взобраться ему было нетрудно. Изящные чугунные завитки, составлявшие рисунок ворот, служили верными точками опоры для цепких рук и маленьких мускулистых ног. Над воротами на большой высоте перекинулась со столба на столб широкая каменная арка. Сергей ощупью взлез на нее, потом, лежа на животе, спустил ноги вниз, на другую сторону, и стал понемногу сталкивать туда же все туловище, не переставая искать ногами какого-нибудь выступа. Таким образом он уже совсем перевесился через арку, держась за ее край только пальцами вытянутых рук, но его ноги все еще не встречали опоры. Он не мог сообразить тогда, что арка над воротами выступала внутрь гораздо дальше, чем снаружы, и по мере того как затекали его руки и как тяжелее свисало вниз обессилевшее тело, ужас все сильнее проникал в его душу.

Наконец он не выдержал. Его пальцы, цеплявшиеся за острый угол, разжались, и он стремительно полетел вниз.

Он слышал, как заскрежетал под ним крупный гравий, и почувствовал острую боль в коленях. Несколько секунд он стоял на четвереньках, оглушенный падением. Ему казалось, что сейчас проснутся все обитатели дачи, прибежит мрачный дворник в розовой рубашке, подымет крик, суматоха... Но, как и прежде, в саду была глубокая, важная тишина. Только какой-то низкий, монотонный, жужжащий звук разносился по всему саду:

«Жжу... жжу... жжу...»

«Ах, ведь это шумит у меня в ушах!» – догадался Сергей. Он поднялся на ноги; все было страшно, таинственно, сказочно-красиво в саду, точно наполненном ароматными снами. На клумбах тихо шатались, с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные, темные, пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением. А за ручьем, в чаще кустов, маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла:

«Сплю!.. Сплю!.. Сплю!..»

Ночью, среди перепутавшихся на дорожках теней, Сергей не узнал места. Он долго бродил по скрипучему гравию, пока не вышел к дому.

Никогда в жизни мальчик не испытывал такого мучительного ощущения полной беспомощности, заброшенности и одиночества, как теперь. Огромный дом казался ему наполненным беспощадными притаившимися врагами, которые тайно, с злобной усмешкой следили из темных окон за каждым движением маленького, слабого мальчика. Молча и нетерпеливо ждали враги какого-то сигнала, ждали чьего-то гневного, оглушительно грозного приказания.

– Только не в доме... в доме ее не может быть! – прошептал, как сквозь сон, мальчик. – В доме она быть станет, надоест...

Он обошел дачу кругом. С задней стороны, на широком дворе, было расположено несколько построек, более простых и незатейливых с виду, очевидно, предназначенных для прислуги. Здесь, так же как и в большом доме, ни в одном окне не было видно огня; только месяц отражался в темных стеклах мертвым неровным блеском. «Не уйти мне отсюда, никогда не уйти!..» – с тоской подумал Сергей. Вспомнился ему на миг дедушка, старая шарманка, ночлеги в кофейных, завтраки у прохладных источников. «Ничего, ничего этого больше не будет!» – печально повторил про себя Сергей. Но чем безнадежнее становились его мысли, тем более страх уступал в его душе место какому-то тупому и спокойно-злобному отчаянию.

Тонкий, словно стонущий визг вдруг коснулся его слуха. Мальчик остановился, не дыша, с напряженными мускулами, вытянувшись на цыпочках. Звук повторился. Казалось, он исходил из каменного подвала, около которого Сергей стоял и который сообщался с наружным воз-

духом рядом грубых, маленьких четырехугольных отверстий без стекол. Ступая по какой-то цветочной куртине, мальчик подошел к стене, приложил лицо к одной из отдушин и свистнул. Тихий, сторожкий шум послышался где-то внизу, но тотчас же затих.

– Арто! Артошка! – позвал Сергей дрожащим шепотом.

Неистовый, срывающийся лай сразу наполнил весь сад, отозвавшись во всех его уголках. В этом лае вместе с радостным приветом смешивались и жалоба, и злость, и чувство физической боли. Слышно было, как собака изо всех сил рвалась в темном подвале, силясь от чего-то освободиться.

– Арто! Собакушка!.. Артошенька!.. – вторил ей плачущим голосом мальчик.

– Цыц, окайнная! – раздался снизу зверский, басовый крик. – У, каторжная!

Что-то стукнуло в подвале. Собака залилась длинным прерывистым воем.

– Не смей бить! Не смей бить собаку, проклятый! – закричал в исступлении Сергей, царапая ногтями каменную стену.

Все, что произошло потом, Сергей помнил смутно, точно в каком-то бурном горячечном бреду. Дверь подвала широко с грохотом распахнулась, и из нее выбежал дворник. В одном нижнем белье, босой, бородатый, бледный от яркого света луны, светившей прямо ему в лицо, он показался Сергею великаном, разъяренным сказочным чудовищем.

– Кто здесь бродит? Застрелю! – загрохотал, точно гром, его голос по саду. – Воры! Грабят!

Но в ту же минуту из темноты раскрытой двери, как белый прыгающий комок, выскочил с лаем Арто. На шее у него болтался обрывок веревки.

Впрочем, мальчику было не до собаки. Грозный вид дворника охватил его сверхъестественным страхом, связал его ноги, парализовал все его маленькое тонкое тело. Но, к счастью, этот столбняк продолжался недолго. Почти бессознательно Сергей испустил пронзительный, долгий, отчаянный вопль и наугад, не видя дороги, не помня себя от испуга, пустился бежать прочь от подвала.

Он мчался, как птица, крепко и часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то ругательства.

С размаху Сергей наскочил на ворота, но мгновенно не подумал, а скорее инстинктивно почувствовал, что здесь дороги нет. Между каменной стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка. Не раздумывая, подчиняясь одному чувству страха, Сергей, нагнувшись, юркнул в нее и побежал вдоль стены. Острые иглы кипарисов, густо и едко пахнувших смолой, хлестали его по лицу. Он спотыкался о корни, падал, разбивая себе в кровь руки, но тотчас же вставал, не замечая даже боли, и опять бежал вперед, согнувшись почти вдвое, не слыша своего крика. Арто кинулся следом за ним.

Так бежал он по узкому коридору, образованному с одной стороны – высокой стеной, с другой – тесным строем кипарисов, бежал, точно маленький обезумевший от ужаса зверек, попавший в бесконечную западню. Во рту у него пересохло, и каждое дыхание кололо в груди тысячью иголок. Топот дворника доносился то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную, тесную лазейку.

Наконец Сергей выбился из сил. Сквозь дикий ужас им стала постепенно овладевать холодная, вялая тоска, тупое равнодушие ко всякой опасности. Он сел под дерево, прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза. Все ближе и ближе хрустел песок под грузными шагами врага. Арто тихо подвигивал, уткнув морду в колени Сергея.

В двух шагах от мальчика зашумели ветви, раздвигаемые руками. Сергей бессознательно поднял глаза вверх и вдруг, охваченный невероятной радостью, вскочил одним толчком на ноги. Он только теперь заметил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низ-

кая, не более полутора аршин. Правда, верх ее был утыкан вмазанными в известку бутылочными осколками, но Сергей не задумался над этим. Мигом схватил он поперек туловища Арто и поставил его передними лапами на стену. Умный пес отлично понял его. Он быстро вскарабкался на стену, замахал хвостом и победно залаял.

Следом за ним очутился на стене и Сергей, как раз в то время, когда из расступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура. Два гибких, ловких тела – собаки и мальчика – быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу. Вслед им понеслась, подобно грязному потоку, скверная, свирепая ругань.

Был ли дворник менее проворным, чем два друга, устал ли он от кружения по саду или просто не надеялся догнать беглецов, но он не преследовал их больше. Тем не менее они долго еще бежали без отдыха, – оба сильные, ловкие, точно окрыленные радостью избавления. К пуделю скоро вернулось его обычное легкомыслие. Сергей еще оглядывался боязливо назад, а Арто уже скакал на него, восторженно болтая ушами и обрывком веревки, и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы.

Мальчик пришел в себя только у источника, у того самого, где накануне днем они с дедушкой завтракали. Припавши вместе ртами к холодному водоему, собака и человек долго и жадно глотали свежую, вкусную воду. Они отталкивали друг друга, приподнимали на минуту кверху головы, чтобы перевести дух, причем с губ звонко капала вода, и опять с новой жаждой приникали к водоему, не будучи в силах от него оторваться. И когда они наконец отвалились от источника и пошли дальше, то вода плескалась и булькала в их переполненных животах. Опасность миновала, все ужасы этой ночи прошли без следа, и им обоим весело и легко было идти по белой дороге, ярко освещенной луной, между темными кустарниками, от которых уже тянуло утренней сыростью и сладким запахом освеженного листа.

В кофейной «Ылдыз» Ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом:

– И сто ти се сляесься, мальцук? Сто ти се сляесься? Вай-вай-вай, нехоросо...

Сергей не хотел будить дедушку, но это сделал за него Арто. Он в одно мгновение отыскал старика среди груды валявшихся на полу тел и, прежде чем тот успел опомниться, облизал ему с радостным визгом щеки, глаза, нос и рот. Дедушка проснулся, увидел на шее пуделя веревку, увидел лежащего рядом с собой, покрытого пылью мальчика и понял все. Он обратился было к Сергею за разъяснениями, но не мог ничего добиться. Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот.

1903

Угар

Ночь... Спящее море... Расплескался по необъятному простору золотой блеск луны и ходит и мерцает, точно живой... У самого обрыва, на скамье, два черных тонких силуэта, мужской и женский, тесно прижались друг к другу. Спят старые деревья. Дремлют в море белые ленивые паруса. Крепко и свежо пахнет с моря.

Какая ночь!

А мы вот сидим в большом зале кафешантана, сидим тесно, столик к столику, плечо к плечу, спина к спине. Нагло, назойливо и равнодушно бьет в глаза свет электрических фонарей. Из кухни плывет сытый, жирный запах жареной рыбы, и кажется, что это он сгустился над нами таким тяжелым синим дымом.

– Я тебе русским языком говорил, болван: как только освободится кабинет, приди и доложи мне!..

Красные лица, потные лбы, глянцевиные щеки. Запах и жар человеческих тел, скученных в узком пространстве без воздуха, ужас тел, нагроможденных друг на друга. Быстро вянут цветы и уже теперь похожи на грязные, мертвые тряпки.

– Э-э, как вас? Распорядитель... администратор... режиссер... все забываю вашу фамилию... Нет ли новеньких анекдотов?

– Извините, ваше-ство... пока еще нет...

– Н-да-а-с... Ну идите себе. Скучно у вас...

Хохот, крики, пение... Глядите, глядите внимательней. Те, что улыбаются, сами чувствуют свою улыбку на губах, чувствуют, точно чужую прилипшую маску. В глазах мертвая, глупая тоска. На нас смотрят. Будем неестественно веселы, фальшиво развязны, громко остроумны, неправдоподобно пьяны, по-княжески щедры – на нас смотрят, и нас слушают. Будем веселиться. О, какая тоска!

– Тра-та-та, тра-та-та.

Эльская-Майская! Бра-аво! Валяй, Манька, «Червячок»! Слушайте, она будет петь «Червячка». Бра-а-во!

Ритуфель. Женщина на эстраде, дожидаясь такта, поправляет на набеленных плечах узенькие розовые перемычки. Раз, два, три.

На мне веселый тувал
Я знаю много шиншанеток...

Жесты: обе руки влево, обе руки вправо, руки вперед к публике, обе руки к сердцу, воздушный поцелуй обеими руками, честь по-военному, тоненькие усики, маршировка.

Это как будто само по себе, независимо от текста. Бедная женщина! Отчего ты не осталась честной миловидной прачкой с красными руками или хорошенькой лукавой горничной в белом переднике, сияющем чистотой. Какой злой и насмешливый дух толкнул тебя на подмостки?

Я старичков почтенных обожаю
Они милы все сердцу моему.

Да-с, вот он сидит, этот старичок. Он совсем разомлел от жары и бессильной похоти и только лишь изредка, по административной привычке, нет-нет – кинет вокруг себя неожиданно строгий взгляд. Приглядитесь внимательней! Вот еще господин – в белом жилете, с брелоком, взлохмаченный, с воспаленными жалкими и растерянными глазами. Теперь он на все

махнул рукой и утонул в пьяной, угарной любви. Сегодня ночью он будет плакать на чьей-то увядшей и накрашенной груди и будет лепетать горькими, бессильными губами о своей младшей дочери. Вот юноша. Он в первый раз здесь. Вы видите, как нервно вытягивает он манжеты своей сорочки и старается притвориться привычным завсегдатаем. Но в глазах его горит нездоровый, лихорадочный свет...

Но большинство равнодушно. Это привычные гости, которых здесь знают по именам и шутилым прозвищам. Странные существования. Паразиты, прихлебатели, игроки, содержанцы, неизвестно кому принадлежащие бритые лица, коммивояжеры, биржевые зайцы, сводники, прекрасно одетые жулики. Мертвая скука! Пресыщенные люди уже не воспринимают самых острых впечатлений и безучастно, как объевшиеся коровы, пережевывают их. Женщина идет через сцену на руках – скучно! Женщина делает безобразный жест – скучно! Кэк-уок, в котором люди, вывернувшись самым неестественным образом, кривляются задом наперед, – надоело! Все надоело. Лица растянуты судорожным смехом, но в глазах зияет нестерпимая, доводящая до одуренья тоска...

Нечем дышать. Выйдем лучше на воздух. О, как благоухает ночной воздух на побережье! Это море дышит вам в лицо своей бодрой грудью. Луна взошла. Бежит через все море, до горизонта, дробясь, сверкая зыбучими блесками, играя темными волнами, золотая дорожка. Внизу лежат мокрые, черные камни.

Чистое небо. Море...

1904

Брильянты

Южный вечер – жаркий и темный. Запыленные акации над горячим асфальтом тротуаров лениво просыпаются от тяжелой дневной дремоты. Нарядная толпа стремится двумя непрерывными потоками туда и обратно.

В одном месте образовался водоворот. Подходят, останавливаются, теснят друг друга, задерживают, сгущают общее движение и отходят прочь. Уходя, бросают последний, прощальный взгляд... Быстрый, тревожный взгляд.

Но другие подолгу стоят здесь, опершись грудью и локтями о круглую железную палку, ограждающую зеркальное стекло магазина, стоят, с бледными лицами, с широко раскрытыми, неподвижными глазами.

На белых плюшевых щитках, ряд над рядом, освещенные скрытыми рефлексорами, горят разноцветные капли огня. Как радуется, как очаровывает наш глаз в ночной темноте их волшебный блеск!

В середине два брильянта, каждый величиной с лесной орешек. Их граней, их очертаний не видно. Это не камни – это два странные таинственных огня. Они горят, дрожат, играют, переливаются, смеются тысячами неуловимых, сияющих, лукавых улыбок, и манят, и обещают, и обманывают...

Вот блеснул синий сноп лучей. Такого цвета не бывает ни на небе, ни в море: бывает только в раннем детстве, когда слушаешь сказку. Блеснул, затрепетал и скрылся, и вот уже льется оттуда, точно кровавое вино, точно зарево огромного пожара, точно безумная, пьяная радость, красный торжествующий огонь. Но – мгновение, незаметный поворот головы, сотрясение мостовой под экипажем, – и загорелось зеленое сияние, тихое, глубокое, загадочное, похожее на мерцание июньского светляка в густой траве. Еще миг – и заструился веселый золотой свет солнца, и вдруг заматались, заплесали все цвета радуги...

Ах, человеческие лица! Сосредоточенные, хмурые, бледные под этим отраженным, рассеянным, матовым светом – как много говорят они печального, и злого, и глупого! У женщин хищно раздуваются ноздри, и зубы влажно блестят из-за полураскрытых губ. Их теснят, толкают, но они не чувствуют этого, обвороченные чудесным блеском, увлеченные одним стремлением.

Юноша и девушка. Оба стройные, гибкие, красивые. Может быть, они только что тайно встретились в условленном месте – встретились с волнением, с нежностью, с прелестной боязливостью. Кто-нибудь из них опоздал на свиданье. Была сцена притворной холодности, ревности, вражды сквозь неудержимые, ласкающие, шаловливые улыбки. И вот они стоят здесь, забыв друг о друге, загипнотизированные лукавой игрой брильянтов, ушедшие в странные, нездоровые грезы.

Жена с мужем. Старик. Беременная женщина. Двое юрких, прекрасно одетых пройдох с голодными глазами. Посыльный, задержавшийся впопыхах на секунду. Кокотка. Жена с мужем. Нет, впрочем, это не муж и жена... но все равно они забыли, потеряли, не чувствуют друг друга, хотя их руки еще соприкасаются.

И во всех этих лицах, во всех этих глазах, которые на минуту становятся бесцветными, бездонными и лживыми, я читаю одно и то же жадное слово:

Если бы!

Если бы чудо?... Если бы найти на улице?... Если бы чья-то неожиданная сказочная щедрость?... Если бы... Если бы украсть, но так, чтобы никто никогда не знал об этом?..

Кто знает, что оказалось бы в лучших душах человеческих, если бы можно было незаметно проникать в них и наблюдать их самые тайные, самые скрытые изгибы? Сколько столпов,

сколько твердых мужей, сколько честных граждан оказалось бы ворами, убийцами, прелюбодеями? И кто может сказать непоколебимо, что страшней – мысли или дело, и где их границы?

Самое странное, смешное, нелепое, необыкновенное в мире – это людские условности. Вот лежат два кусочка сгущенного углерода, два кусочка угля, две блестящие побрякушки. Но в них, как в фокусе, сосредоточены: богатство, роскошь, почет, женская любовь, власть...

Так сложилась жизнь, так условились люди.

Особенно власть. О, как понятно мне, почему самые прославленные историей, самые кровожадные тираны человечества были в то же время такими тонкими знатоками, ценителями и собирателями драгоценных камней! Для них, пресыщенных всеми крайними формами власти и наслаждения, драгоценности являлись жгучими, но пока еще сокрытыми символами дальнейшего бесконечного расширения их личности. Это была та же огромная, страшная власть одного над миллионами, но власть, чудесно сконцентрированная в маленьком предмете, который мог поместиться и в кулаке. Это была власть в потенциальном виде.

Из-за драгоценных камней велись кровопролитные войны. Земные владыки нелегко расстаются с этими маленькими вещицами. Подобострастная история сохранила нам анекдот о том, как улыбающаяся царица Клеопатра выпила, растворив в бокале вина, жемчужину, равной которой по величине и красоте не было в мире. Но, вероятно, никто не знает, что случилось сейчас же после этого безумно-великолепного пиршества.

Случилось же вот что.

Возвратясь с пира в свою опочивальню, Клеопатра приказала раздеть себя. Нубийская рабыня неосторожно прикоснулась рукой к обнаженному плечу царицы, и царица в порыве гнева вонзила в ее черную грудь острую головную булавку. Когда же рабыня застонала, Клеопатра воскликнула в ярости:

– Не смей кричать! Дура!

В это время евнух, стоя почтительно на четвереньках, благоговейно напомнил императрице о судьбе пленного грека-философа. Прежде у Клеопатры был тонкий замысел: устроить с этим ученым публичный диспут в присутствии высоких римских гостей и, показав себя во всем блеске ума и красноречия, великодушно возвратить пленнику свободу. Но теперь, огорченная потерей многоценной жемчужины, она закричала с раздражением и со слезами в голосе:

– Что ты ко мне пристаешь с глупостями! Удавить его!

1904

Пустые дачи

О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осенью.

Было в ней что-то напряженное, и страстное, и нежное, и болезненное, как в последней ласке перед разлукой, как в долгом прощальном поцелуе, смешанном со слезами. Неподвижные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья – все притаилось в чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии. Может быть, они вспоминали о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре?

Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина, – тот странный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе, в разгар дневного шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девический смех.

Кто-то произнес мечтательно и грустно:

– Это последняя ночь лета. Последняя ночь...

Помню: я тогда поглядел направо, на юг. Там – от земли до полнеба – сгрудились тяжкие сонные тучи, и в них бегали зарницы. А под ними простирались кроткие усталые поля и черные холмы, и редкие деревья стояли, как черные, печальные призраки.

И почудилось мне, что там, на полях, сверх холмов и деревьев, лежит кто-то большой, невидимый, всезнающий, жестокий и веселый, – лежит молча, на животе и на локтях, лежит, подперев ладонями густую курчавую бороду. Тихо, с злобной радостью улыбается он чему-то идущему и молчит, и молчит, и лукаво щурит глаза, играющие беззвучными фиолетовыми молниями...

Потом сразу стало холодно. Поднялся ветер с востока.

Мы ушли.

А под утро с моря, из-за той вон далекой прямой черты, оттуда, снизу, вырвалась буря – вся черная, в белой косматой пене. В страхе шарахнулись волны на берег, в ужасе заметались деревья, простирая в одну сторону дрожащие бессильные руки, и наш дом до утра трясся под напорами ветра.

Что делалось тогда на море! Там грохотали тысячи нагруженных телег, шумел лес, взрывались скалы, кто-то в ярости рвал пополам исполинские куски шелка... А когда мы проснулись, была осень.

Так началась осень...

И вот я еду сегодня на велосипеде по узкой извилистой дорожке парка. Хрустит и взвизгивает гравий под колесами. Левая сторона лица моего обращена к солнцу, и ей тепло, а правой холодно.

По бокам дорожки – плотные, мелкие кусты. Сквозь них теперь сквозит небо и кажется таким густым, таким невероятно синим. Все стало просторно, голо, неряшливо и неудобно, точно знакомая комната, из которой вынесли мебель. Шелестят серебряным звуком коричневые, скоробившиеся листья.

Гимназистом я однажды через две недели после летних каникул вернулся на дачу, где провел три месяца. Было все пустынно, тихо, глухо и грустно. О, как хорошо помню я эту задумчивую грусть, эту сладкую медленную тоску, от которой, как от вина, сжималось сердце и кружилась голова! «Все, что прошло, – думал я, – все осталось в моей памяти, оно – мое, во мне, я могу его вызвать силой воображения. Но ничто, ничто не вернется больше! Ни одна черта!»

Так я думал тогда, но теперь моя душа не воспринимает уже более этой поэтической, нежной печали: в ней бессильно и горько шевелится только грусть по прежней грусти. Плачет беззлая, смирившаяся зависть...

Оставленные пустые дачи. Окна криво забиты снаружи досками. Кругом сор – тот сор, который всегда остается от дачников. На клумбах среди обнаженной черной земли доцветают яркие астры и георгины. Я слышу их травянистый, меланхолический осенний запах... Здравствуй, осень моей жизни!

Вечером к нам на балкон приходят чужие брошенные голодные собаки. Они тихо, без волнения жмутся к ногам и робко заглядывают в глаза просящими, испуганными глазами. Они останутся здесь на зиму. Мне страшно думать о тех лютых ночах, когда они будут дрожать от холода и ужаса, в снегу, под занесенными балконами... Море ревет в эти ночи, и деревья стонут от ветра, и кругом не горит ни одного огня... Бедные, ласковые друзья, что вы будете чувствовать, кому вы будете жаловаться в эти ночи?

По праздникам к нам уже не наезжают нарядные парочки, которые ходят, обнявшись и колеблясь от любви и оттого, что не смотрят на дорогу, а на небо или в глаза друг другу. Зато приезжают мрачные люди, с галстуками на боку, с растерянным взглядом и ходят в одиночку по глухим местам у моря и в парке.

Гравий шуршит под гуттаперчей колес. Вот место, где одной ночью в начале июня моего лица неожиданно коснулась ветка сирени, и я вздрогнул, сначала от испуга, а потом от счастья, потому что мне показалось, что это цветок поцеловал меня в щеку. Вот еще одно место. Здесь я встретил одну девушку. Она была мне незнакома, и я потом не встречал ее больше. Из глаз ее лился снопами голубой свет, в котором было все: радость жизни, восторг молодости, сияющее счастье первой любви. Помню, я улыбнулся, и она ответила мне – она улыбнулась так лучезарно, так эгоистично-виновато, так прекрасно-легкомысленно. Она прошла дальше. Я оглянулся. Она не шла, а точно танцевала, не касаясь ногами земли, как мотылек, опьяненный светом. И мне захотелось упасть на землю и целовать те места, на которые ступали ее белые туфли. Почему? Я не знал этого...

А вот старая гнилая скамейка. На ней вырезаны чьи-то имена и девизы. О, милая!

Здравствуй, моя осень. В моем сердце не осталось даже грусти. Но я благословляю и ветку, и девушку, и море, и холодное небо, и печальные последние георгины...

1904

Памяти Чехова

Он между нами жил...

Бывало, в раннем детстве, вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день – еще крепишься кое-как, хотя сердце нет-нет – и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение.

Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, – о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вот тогда-то понимаешь впервые весь потрясающий ужас двух неумолимых вещей: невозвратимости прошлого и чувства одиночества. Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь, перенес бы всяческие мучения за один только день того светлого, прекрасного существования, которое никогда не повторится. Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, в суете и потому, что время представлялось неисчерпаемым, – ты не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно.

Детские скорби жгучи, но они растают во сне и исчезнут с завтрашним солнцем. Мы, взрослые, не чувствуем их так страстно, но помним дольше и скорбим глубже. Вскоре после похорон Чехова, возвращаясь с панихиды, бывшей на кладбище, один большой писатель сказал простые, но полные значения слова:

– Вот похоронили мы его, и уже проходит безнадежная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней наших, останется в нас ровное, тупое, печальное сознание, что Чехова нет?

И вот теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в которых светилась его прекрасная, избранная, аристократическая душа. Жалеешь, что не всегда был внимателен к тем особенным мелочам, которые иногда сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела. Упрекаешь себя в том, что из-за толкотни жизни не успел запомнить, записать много интересного, характерного, важного. И в то же время знаешь, что эти чувства разделяют с тобою все те, кто был близок к нему, кто истинно любит его, как человека несравненного душевного изящества и красоты, кто с вечной признательностью будет чтить его память, как память одного из самых замечательных русских писателей.

К любви, к нежной и топкой печали этих людей я обращаю настоящие строки.

I

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой сверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, – она походила бы на здания в стиле *moderne*, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. К саду, со стороны, противоположной шоссе, примыкало отделенное низкой стенкой старое, заброшенное татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах.

Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали.

А. П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водой. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи, наконец, шел дождь, наполнявший водой запасные глиняные цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

– Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? – прибавлял он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. – Знаете ли, через триста – четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна.

Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отзывавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его душевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастье человечества, когда, по утрам, один, молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!

Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, ни завистливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости – от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного, – он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушел в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности. Нет, вся сумма его большого и тяжелого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования

выразились в этой прекрасной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье.

– Как хороша будет жизнь через триста лет!

И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления, вроде убийства, воровства и прелюбодеяния, становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество.

Рассказывая о чеховском саде, я забыл упомянуть, что посредине его стояли качели и деревянная скамейка. И то и другое осталось от «Дяди Вани», с которым Художественный театр приезжал в Ялту, приезжал, кажется, с исключительной целью показать больному тогда А. П-чу постановку его пьесы. Обоими предметами Чехов чрезвычайно дорожил, и, показывая их, всегда с признательностью вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра. Здесь у места также упомянуть, что эти прекрасные артисты своей исключительной деликатной чуткостью к чеховскому таланту и дружной преданностью ему самому много скрасили последние дни незабвенного художника.

II

Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о мелеховских таксах Бrome и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ – собаки!» – говорил он иногда с добродушной улыбкой.

Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем утомительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.

Одну собаку звали Тузик, а другую – Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:

– Уйди же, уйди, дурак... Не приставай...

И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:

– Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:

– Ах, ты, глупый, глупый... Ну как тебя угораздило?.. Да тише ты... легче будет... дурачок...

Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А. П. одна больная барышня, приводившая с собою девочку лет трех-четырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А. П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде.

С большой и сердечной любовью относились к Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался, – слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны, – и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в «Русском о-ве пароходства и торговли», человека положительного, немногословного и, главное, совершенно непосредственного в восприятии и передаче своих впечатлений.

Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту и еще не успел сойти с палубы. Был промежуток той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда поднимаются вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время татарин-носильщик, всегда услуживавший А. П.-чу и увидевший его еще издали, раньше

других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел бравый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил бедного татарина по лицу.

«И вот тогда произошла сверхъестественная сцена, – рассказывал мой знакомый. – Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань:

«Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты – вот кого ударил!»

И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают. Подходит к помощнику и говорит ему тихо так, раздельно, но с необычайным выражением: «Как вам не стыдно!» Поверите ли, ей-богу, будь я на месте этого мореплавателя, – лучше бы мне двадцать раз в морду плюнули, чем услышать это «как вам не стыдно». И на что уж моряк был толстокож, но и того проняло: заметался-заметался, забормотал что-то и вдруг испарился. И уж больше его на палубе не видели».

III

Кабинет в ялтинском доме у А. П. был небольшой, шагов двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, но дышавший какой-то своеобразной прелестью. Прямо против входной двери – большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем; в нише – турецкий диван. С правой стороны, посредине стены – коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое, незаделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами – это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу – дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича, – светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной и невинностью. Стены кабинета – в темных с золотом обоях, а около письменного стола висит печатный плакат: «Просят не курить». Сейчас же возле входной двери направо – шкаф с книгами. На камине несколько безделушек и между ними прекрасная модель парусной шхуны. Много хороших вещей из кости и из дерева на письменном столе; почему-то преобладают фигуры слонов. На стенах портреты – Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые, тяжелые темные занавески, на полу большой, восточного рисунка, ковер. Эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А. П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади громоздятся полукольцом горы. По вечерам, когда в гористых окрестностях Ялты зажигаются огни и когда во мраке эти огни и звезды над ними так близко сливаются, что не отличаешь их друг от друга, – тогда вся окружающая местность очень напоминает иные уголки Тифлиса...

Всегда бывает так: познакомишься с человеком, изучишь его наружность, походку, голос, манеры и все-таки всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в самый первый раз, совсем другим, отличным от настоящего. Так и у меня, после нескольких лет знакомства с А. П., сохранился в памяти тот Чехов, каким я его увидел впервые, в общей зале «Лондонской» гостиницы в Одессе. Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки, – слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал: «на земского врача или на учителя провинциальной гимназии». Но было в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное – в лице, в говоре и в оборотах речи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова, – именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни.

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А. П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков – словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько

приподняв кверху голову, лицо А. П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь назад и вперед на кресле, разражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот – удивительно – каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.

Обращал внимание в наружности А. П. его лоб – широкий, белый и чистый, прекрасной формы: лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные, задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека – у Толстого.

Однажды летом, пользуясь добрым настроением Антона Павловича, я сделал с него несколько снимков ручным фотографическим аппаратом. Но, к несчастью, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам А. П. сказал, посмотрев на них:

– Ну, знаете ли, это не я, а какой-то француз.

Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, – пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда – небрежный и некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.

IV

Вставал А. П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей, вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда, безукоризненно, изящно и скромно одетого.

По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставить: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных, широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову: ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры – и Бог знает, кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи: являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону». Приходила просящая беднота – и настоящая и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства.

Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, – надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.

Здесь уместно вспомнить об одном факте, который, по-моему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от звания почетного академика, известны и мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в академию по этому поводу – прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души.

«В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что, ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял

сердечно, и я же признавал выборы недействительными – такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика.

А. Чехов».

Странно – до чего не понимали Чехова! Он – этот «неисправимый пессимист», – как его определяли, – никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном:

– Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция.

Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечество, который отзывался во всех его произведениях последних лет.

Надо сказать правду: далеко не все посетители щадили время и нервы А. П.-ча, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания.

Было хорошее, не жаркое, безветренное летнее утро. А. П. чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется, точно с неба, толстый господин (оказавшийся впоследствии архитектором), посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. А. П. принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат: «Просят не курить», не спрашивая позволения, закуривает вонючую, огромную рижскую сигару. Затем, отвесив, как неизбежный долг, несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведенному его делу.

Дело же заключается в том, что сынок архитектора, гимназист третьего класса, бежал на днях по улице и, по свойственной мальчикам привычке, хватался на бегу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. В конце концов он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь. «Так вот, видите ли, глубокоуважаемый А. П., – заключил свой рассказ архитектор, – я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это – случай! Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию – и что бы тогда вышло?» – «Да, все это очень прискорбно, – ответил Чехов, – но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденции. Я пишу только рассказы». – «Тем лучше, тем лучше! Вставьте это в рассказ, – обрадовался архитектор. – Пропечатайте этого домовладельца с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен... Или нет... все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литеру: господин С. Так, пожалуйста... А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя – вы и господин П.» (И тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика.)

Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которые наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор, потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но едва он, наконец, удалился, А. П. вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятнами на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марии Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому:

– Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил!

Помню также, – и это, каюсь, отчасти моя вина, – как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, вероятно желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени и упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опущенными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который он бросил при прощании на знакомого, приведшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит.

Так же стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу, на диван, ресницы у него дрогнут и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо делается неподвижным и сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего, с легким смешком:

– Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут.

– Почему так?

– Смешно очень. Все врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я и говорю: «Извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишите, что вздумается. Мне все равно». Ну, уж он и написал. Меня даже в жар бросило.

А однажды он с самым серьезным лицом сказал:

– Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорит: «А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю». Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь...

V

В час дня у Чехова обедали внизу в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощенная ни одним пышным или громким словом – удивительная деликатность, чуткость и внимание, но никогда не выходящая из рамок обыкновенных, как будто умышленно будничных отношений. И кроме того, всегда замечалась истинно чеховская боязнь всего надутого, приподнятого, неискреннего и пошлого.

Было в этой семье очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблен разом во всех Чеховых.

Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а все, бывало, ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна (мать А. П.) говорила тихонько, с беспокойной тоской в голосе:

– А Антоша опять ничего не ел за обедом.

Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать, и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом:

– Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или у себя в кабинете, или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая из-под ее полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть А. П.-ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили знакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. Бывали здесь и смешные курьезы.

Один «тамбовский помещик», как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно А. П. уверял, что он давно бросил практику и отстал в медицине, напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору, – «тамбовский помещик» стоял на своем: никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, «тамбовский помещик» положил на стол два золотых и, как его ни уговаривал А. П., ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что, не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды ялтинского благотворительного общества, и тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было «тамбовскому помещику». С сияющим лицом, бережно спрятал он расписку в бумажник и тогда уж признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте А. П. рассказывал мне сам – полусмеясь, полусердито.

Повторяю, многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, он со всеми оставался ровен, терпеливо-внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется в день его именин, огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высотой от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около

столовой, и он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех, забывавших о нем, своей неподвижностью.

– Знаете, я сам этого каменного пса боюсь, – признавался Чехов. – А убрать его как-то неловко, обидятся. Пусть уж тут живет.

И вдруг, с глазами, загоровшимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно, по своему обыкновению:

– А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина?

В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники и даже советчики. «У меня такая масса посетителей, – жаловался он в одном письме, – что голова ходит кругом. Трудно писать». Но все-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения и всегда отличал его от праздной и льстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень веселом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался, и с большим оживлением рассказывал:

– У меня была сейчас чудесная встреча. На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы А. П. Чехов?» – «Да, это я. Что вам угодно?» – «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовал себя А. П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда – но год от году все реже и реже – воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый, остроумный, с кипучим, прелестным, юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:

– Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедem к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах?

Придумывал он удивительные – чеховские – фамилии, из которых я теперь – увы! – помню только одного мифического матроса Кошкодавленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите, – Бунин мой сверстник, – уверял он с напускной серьезностью, – Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И. А. Белоусова. Когда это было!» Одному талантливому беллетристу, серьезному идейному писателю, он говорил: «Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник...»

Но никогда от его шуток не оставалось заноз в сердце, так же, как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему.

После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уж все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время, или разбирался в своих памятных книжках, занося впечатления дня, – это, кажется, не было никому известно.

VI

Вообще мы почти ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже и о внешних, привычных приемах его работы. В этом отношении А. П. был до странного скрытен и молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу:

– Только спаси вас Бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте.

Так он и сам поступал постоянно, хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счет.

Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом же рассказывала и Е. Я. Чехова. «Бывало, еще студентом, Антоша сидит утром за чаем и вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро. И опять задумается...»

Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по нескольку лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ, – говорил он как-то, – то уж не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова».

Где он черпал свои образы? Где находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, единственный в русской литературе язык? Он никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек; может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам? А может быть, они и навсегда останутся неразгаданными? Кто знает? Во всяком случае, мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями.

Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа – работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А. П. и делал свои странные, поражавшие неожиданностью, совсем не идущие к разговору, вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе? Непременно поезжайте. Это интересно». Или вторично предлагает вопрос, на который только что получил ответ.

Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которою так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запоминании того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.

Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом, который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял А. П.-ча своей многословностью. Как только приедет в Ялту, сейчас же является к Чехову и сидит с утра до обеда; в обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи, и все говорит, говорит, говорит... И так каждый день.

И вдруг, быстро обрывая этот рассказ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А. П. прибавлял оживленно:

– А ведь никто не догадывается, что самое характерное в этом человеке. А я вот знаю. То, что он профессор и ученый с европейским именем – это для него второстепенное. Главное то, что он считает себя в душе замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дома он постоянно читает вслух Островского.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанию, он вдруг заметил:

– Знаете, Москва – самый характерный город. В ней все неожиданно. Выходим мы как-то весенним утром с публицистом С-ным из Большого Московского. Это было после длинного и веселого ужина. Вдруг С-н тащит меня к Иверской, здесь же напротив. Вынимает пригоршню меди и начинает оделять нищих – их там десятки. Сунет копеечку и бормочет: «О здравии раба Божия Михаила». Это его Михаилом зовут. И опять: «Раба Божия Михаила, раба Божия Михаила...» А сам в Бога не верит... Чудак...

Тут я должен подойти к щекотливому месту, которое, может быть, не совсем понравится. Я глубоко убежден в том, что Чехов с одинаковым вниманием и с одинаковым проникновенным любопытством разговаривал с ученым и с разносчиком, с просящим на бедность и с литератором, с крупным земским деятелем и с сомнительным монахом, и с приказчиком, и с маленьким почтовым чиновником, отсылавшим его корреспонденцию. Не оттого ли у него в рассказах профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бродяга как истый бродяга? И не оттого ли у него тотчас же после его смерти отыскалось такое множество «закадычных» друзей, за которых он, по их словам, был готов в огонь и в воду?

Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне (была, впрочем, легенда о каком-то его близком любимом друге, чиновнике из Таганрога), но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным, интересом.

Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки брал он нередко прямо из жизни. Выражение «не ндравится мне это», перешедшее так быстро из «Архиерея» в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги, полупьяницы, полупомешанного, полупророка. Также, помню, разговорились мы с ним как-то о давно уже умершем московском поэте, и Чехов с яркостью вспомнил и его, и его сожительницу, и его пустые комнаты, и его сенбернара «Дружка», страдавшего вечным расстройством желудка. «Как же, отлично помню, – говорил А. П., весело улыбаясь, – в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: «Лиодор Иваныч, а Лиодор Иваныч, а что, вам не пора пиво пить?» Я тогда же неосторожно сказал: «Ах, так вот откуда это у вас в «Палате № 6?» – «Ну да, оттуда», – ответил А. П. с неудовольствием.

Были у него также знакомые из тех средостенных купчих, которые, несмотря на миллионы, и на самые модные платья, и на внешний интерес к литературе, говорили «едеал», «принципально». Иные из них часами изливались перед Чеховым: какие у них необыкновенно тонкие «нервные» натуры и какой бы замечательный роман мог сделать «гинеяльный» писатель из их жизни, если б все рассказать. А он ничего, сидел себе и молчал, и слушал с видимым удовольствием, – только под усами у него скользила чуть заметная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что он *искал*, подобно многим другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле, может быть часто против желания, в силу давно изощренной и никогда не искоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества.

Ни с кем не делился он своими впечатлениями, так же как никому не говорил о том, что и как собирается он писать. Так чрезвычайно редко сказывался в его речах художник и беллетрист. Он отчасти нарочно, отчасти инстинктивно употреблял в разговоре обыкновенные, средние, общие выражения, не прибегая ни к сравнениям, ни к картинам. Он берег свои сокровища в душе, не позволяя им расточаться в словесной пене, и в этом была громадная разница между ним и теми беллетристами, которые рассказывают свои темы гораздо лучше, чем их пишут.

Происходило это, думаю, от природной сдержанности, но также и от особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и слов, и этим свойством А. П. обладал в высшей степени. Здесь-то, может быть, и кроется разгадка его *кажущегося* безразличия к вопросам борьбы и протеста и равнодушия к интересам злободневного характера, волновавшим и волнующим всю русскую интеллигенцию. В нем жила боязнь пафоса, сильных чувств и неразлучных с ними несколько театральных эффектов. С одним только я могу сравнить такое положение: некто любит женщину со всем пылом, нежностью и глубиной, на которые способен человек тонких чувств, огромного ума и таланта. Но никогда он не решится сказать об этом пышными, выпренными словами и даже представить себе не может, как это он станет на колени и прижмет одну руку к сердцу и как заговорит дрожащим голосом первого любовника. И потому он любит и молчит, и страдает молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всем правилам декламации, изъясняет фат среднего пошиба.

VII

К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказал он: «Делайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему: «Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься «нашим молодым» и «подающим надежды», – он отвечал спокойно и серьезно:

– Не всем же, батенька, писать, как Толстой.

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнатку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать, – и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я сверху, – говорил он со своей очаровательной улыбкой. – И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне, или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.